Z 40
1263

240
126
Н

Цѣна 15 коп.

ТЭФФИ

ЗАРЕВО БИТВЫ

Дешевая юмористическая библіотека нов. сатирикона

240
1263

ТЕФФИ.

ЗАРЕВО БИТВЫ.

О военныхъ дѣлахъ и гаубицѣ.
Дези.
Чудесный кисетъ.
Герой.
Ихъ дѣти.
На пунктѣ
Впечатлительная натура
Ваня Щеголекъ.
Новые врали.

Книжный магазинъ
К. В. Василевскаго
въ Таганрогѣ.

Государ. публичная
Историческая
библиотека
№ 23698

Типографія „ВИКТОРІЯ". Петроградъ, Знаменская 17.

О ВОЕННЫХЪ ДѢЛАХЪ и ГАУБИЦѢ.

Мы сидѣли въ гостяхъ у Настасьи Петровны: Софья Павловна, я и баронесса Функенъ.

Толковали о военныхъ дѣлахъ.

У Настасьи Петровны всегда толковали о военныхъ дѣлахъ, во-первыхъ, потому, что ея покойный мужъ умеръ въ чинѣ корнета, а, во-вторыхъ, потому, что за ней прошлой зимой ухаживали одновременно два капитана.

На стѣнѣ у Настасьи Петровны виситъ географическая карта, вся утыканная разноцвѣтными флажками, которые Настасья Петровна ежедневно перетыкиваетъ на свой вкусъ и ладъ.

— Я люблю военное дѣло. Оно, положимъ, только тогда и интересно, когда разбираешься въ немъ тонко. Есть, конечно, такіе писаки, которые не умѣютъ отличить полковника отъ ружья. Увѣряю васъ—мнѣ самой довелось прочесть въ какомъ-то романѣ: „Я васъ люблю,—неожиданно выпалилъ полковникъ“. Ясное

дѣло, что выпалило ружье, а полковникъ при этомъ сказалъ: „Я васъ люблю“. Но развѣ они могутъ толково разобраться въ этомъ дѣлѣ?!

Она нервно переставила нѣсколько флажковъ.

— Скажите, Настасья Петровна,—робко спросила я,—отчего это у васъ на Малайскихъ островахъ все русскіе флаги?

— Оттого, что, дитя мое, эти острова могутъ представить великолѣпную базу для операцій нашего пограничнаго флота.

— Ужасная, ужасная вещь эта война!—вздохнула Софья Павловна.

— Одеколонъ уже на полтинникъ вздорожалъ!—вставила баронесса.

— А наши все гонятъ да гонятъ австрійцевъ. Я читала недавно въ газетѣ письмо одного офицера. Пишетъ: „Пятыя сутки гонимся за врагомъ, никакъ догнать не можемъ. Не спимъ, не ѣдимъ, не отдыхаемъ, бѣжимъ дни и ночи, а догнать не можемъ“. Какъ вы къ этому относитесь, Настасья Петровна?

Настасья Петровна мрачно сдвинула брови.

— Какъ я отношусь? Нахожу, что здѣсь мало хорошаго. Австрійцы, какъ уже дознано зоологами, во время бѣга развиваютъ бѣшеную скорость. Вы думали, они даромъ устраивали у себя

разные сокольскіе и прочіе спортивные кружки? Это они къ войнѣ готовились. Теперь они, выражаясь военнымъ языкомъ, задаютъ, такъ называемые, „лататы“. Для окрестныхъ странъ это очень опасная штука. Русскіе гонятъ—австрійцы бѣгутъ. Остановить ихъ нѣтъ никакой возможности, никакихъ средствъ. Вы понимаете, что это значитъ? Не сегодня-завтра, они проскочутъ черезъ всю Австрію, черезъ Германію, частью, черезъ Швейцарію, выскочатъ во Францію, пока не добѣгутъ до естественной границы—до океана, гдѣ частью потонутъ, частью кинутся вплавь на Америку. Дальнѣйшее намъ безразлично, но, по отношенію къ Франціи это очень, съ нашей стороны, легкомысленно. Вѣдь они перетопчутъ ее всю сапожищами.

Мы притихли, подавленныя. Первая очнулась баронесса.

— Сколько ужасовъ несетъ война! Вы слышали — одеколонъ вздорожалъ на полтинникъ...

— Да, многое, многое еще не совершенно,—вздохнула Настасья Петровна, затыкивая бельгійскій флажокъ на вершину Гималаевъ.—Многое! А совѣтовъ не слушаются. Откровенно говоря, я уже послала нѣсколько открытокъ въ штабъ арміи съ указаніями. Очевидно, ихъ даже

не прочли. Столько необдуманныхъ поступковъ. Вы, навѣрное, согласитесь со мной, медамъ. Напримѣръ, крѣпости. Зачѣмъ эти крѣпости? Однѣ строятъ, другія берутъ. Къ чему это? Не строй. А разъ кто-нибудь выстроилъ—не бери, не лѣзь. Къ чему лѣзть непремѣнно на крѣпость, разъ каждый ребенокъ знаетъ, что въ крѣпости войско и пушки и, вообще, сосредоточеніе военныхъ силъ? Не лѣзть надо на крѣпость, а, наоборотъ, стараться какъ можно дальше обойти ее. Ну, представьте себѣ — вы пошли гулять и вамъ говорятъ: „Сегодня на Садовой, въ каждаго, кто туда носъ сунетъ, будутъ изъ пушки палить". Неужели же вы туда пойдете? Вѣдь это же, извините меня, мальчишество. Съ другой стороны, если ужъ тебѣ непремѣнно приспичило строить крѣпость, такъ строй ее такъ, чтобы никто не зналъ, гдѣ она находится. Пойдутъ враги мимо и не замѣтятъ, что у васъ тамъ всякія укрѣпленія нагорожены. Пройдутъ и не тронутъ, и крѣпость цѣла. Можете даже потомъ имъ вслѣдъ немножко пострѣлять, чтобъ они удивились.

— Настасья Петровна!—спросила я.— Скажите мнѣ, пожалуйста — что такое гаубица?

Эта гаубица давно смущала меня. При-

знаться откровенно—я просто не знала что такое гаубица?

Какъ-то спросила у знакомаго полковника, а онъ, вмѣсто отвѣта, засмѣялся и сказалъ: „Вотъ вы какими дѣлами интересоваться стали! Ужъ не мѣтите ли вы въ главнокомандующіе“?

Это несправедливое подозрѣніе страшно обидѣло меня и заставило быть осторожнѣе. Рѣшила больше къ спеціалистамъ не обращаться.

Но, все-таки, гаубица не давала мнѣ покоя.

— Гаубица?—подхватила Софья Павловна.—Да, неужели, вы не знаете, что такое гаубица? Для этого вовсе не нужно быть особымъ знатокомъ военнаго искусства. Это такъ просто. Гаубица—это просто такая пуля, которая не летитъ, какъ обыкновенная пуля, — а вдругъ останавливается въ воздухѣ и сама выбираетъ себѣ жертву.

— И ничего подобнаго! Буквально ничего похожаго!—возмутилась баронесса.—Гаубица—это просто такое ругательное слово, спеціально военное. Въ мирное время оно не употребляется.

— Быть не можетъ!

— Увѣряю васъ. Я сама читала: „На нашу храбрую вылазку непріятель отвѣтилъ намъ гаубицами“. Что же они, по-

вашему, комплиментами отвѣчать намъ будутъ, что ли?

— А какъ же я читала, — допытывалась я, — что нашимъ войскамъ достались непріятельскія гаубицы?

— Ну, да. Что же васъ удивляетъ? Разъ наши войска одержали побѣду, вполнѣ естественно, что непріятель со злости отпускаетъ по нашему адресу свои гнусныя гаубицы.

— А какъ же я читала, что было нами взято столько-то плѣнныхъ и столько-то гаубицъ?

— Ахъ, вотъ въ какой связи это было сказано! Такъ бы и говорили. Слово гаубица имѣетъ еще другое значеніе. Это — въ родѣ маркитантокъ. Ну, да. Что вы на меня смотрите, баронесса? Конечно, въ родѣ маркитантокъ. Не совсѣмъ, но очень похоже...

— Настасья Петровна! — съ робкой мольбой сказала я. — Что же такое гаубица?

Она словно очнулась отъ глубокой думы.

— Ахъ, дитя мое, это зависитъ отъ того, въ какомъ смыслѣ... Въ какой связи... Какъ было сказано: у насъ гаубица или у нихъ?

— Кажется, у нихъ.

— У нихъ? Ну, въ такомъ случаѣ, навѣрное, какая-нибудь гадость.

Теперь я знаю.

Гаубица—это такая маркитантка, которая останавливается въ воздухѣ и выбираетъ себѣ жертву для ругательнаго слова военнаго времени.

Вотъ и все! И было чего мучиться!!

———

ДЭЗИ.

Дэзи Агрикова съ большимъ трудомъ попала въ лазаретъ.

Во-первыхъ, очень трудно было устроиться на курсы сестеръ милосердія. Вездѣ такая масса народа, и всѣ какъ-то успѣвали записаться раньше Дэзи Агриковой, и вездѣ былъ полный комплектъ, когда она приходила.

Наконецъ, нашлись какіе-то курсы, куда она попала во-время. Но принимавшая запись барышня съ флюсомъ предупредила честно и строго:

— Правъ никакихъ. Опредѣленныхъ часовъ для лекцій нѣтъ.

Дэзи все-таки записалась и стала ходить.

Походивъ недѣли четыре и не получивъ ни правъ, ни свидѣтельства, Дэзи Агрикова стала хлопотать о поступленіи въ лазаретъ.

Было трудно. Никуда не брали. Вездѣ переполнено.

А знакомые дразнили вопросами:

— Вы гдѣ работаете? Я въ N—скомъ лазаретѣ. Полтораста раненыхъ. Масса работы. Я на лучшемъ счету.

— Вы въ какомъ лазаретѣ? Какъ ни въ какомъ? Да что вы! Теперь всѣ въ лазаретѣ,—и княжна Кукина, и баронесса Шмукъ.

— Вы не собираетесь на передовыя позиціи? Я собираюсь. Теперь всѣ собираются,—и княжна Шмукина, и баронесса Кукъ.

Дэзи Агрикова стала врать. Стала говорить, что работаетъ, а гдѣ, это—секретъ, и что ѣдетъ на передовыя позиціи, а когда,— секретъ и куда,— секретъ.

Но потихоньку плакала.

Было какъ-то неловко. Неприлично. Чувствовала себя, какъ купеческая невѣста, не играющая на роялѣ.

Приходилъ Вово Бэкъ и шепелявилъ, неумѣло затыкая подъ бровь монокль:

— Неужели вы еще не работаете въ лазаретѣ? Теперь необходимо работать въ лазаретѣ. Всѣ дамы изъ высшаго обще-

ства... C'est trést bien vu. И вамъ, навѣрное, очень пойдетъ костюмъ сестры.

Дэзи хлопотала, нажимала всѣ пружины, и, наконецъ, дѣло ея устроилось. И устроилось очень просто: нужно было только попросить баронессу Кукъ, та попросила Павла Андреича, Павелъ Андреичъ попросилъ княжну Шмукину, княжна Шмукина сказала Веретьеву, Веретьевъ — княжнѣ Кукиной, княжна Кукина—баронессѣ Шмукъ, а баронесса Шмукъ попросила Владиміра Николаевича, который ни болѣе, ни менѣе, какъ другъ если не дѣтства, то средняго возраста, самой Марьи Петровны.

Такимъ образомъ Дэзи Агрикова устроилась въ лазаретѣ.

Волновалась страшно: какая косынка больше идетъ — круглая или прямая? Выпускать ли чолку или только локончики у висковъ?

Пришла она въ лазаретъ утромъ, поискала глазами, кому бы сказать о томъ, что она пришла сюда работать „по просьбѣ самой Марьи Петровны", но никто на нее не смотрѣлъ, и никому не было до нея дѣла. Всѣ были заняты.

Вотъ отворилась дверь, на которой прибита дощечка: „Перевязочная. Входъ

воспрещенъ". Выглянула плотная женщина съ засученными рукавами и крестомъ на груди.

— Вы что?

Дэзи подтянула губки и собралась разсказать про Шмукъ, Кукъ и Марью Петровну, но ее перебили.

— Такъ идите же скорѣе помогать. Тамъ рукъ не хватаетъ.

Дэзи вошла въ перевязочную.

По стѣнѣ на табуретахъ сидѣли раненые, кто вытянувъ забинтованную руку, кто—ногу. Сидѣли молча.

На длинномъ столѣ лежалъ бокомъ очень худой, бородатый солдатъ. Докторъ, низко нагнувшись надъ его бедромъ, вертѣлъ какимъ-то блестящимъ инструментомъ. Лицо у доктора было блѣдное, губы стиснуты, и только на одной щекѣ горѣло яркое пятно.

— Подберите патлы и вымойте руки!—быстро сказала Дэзи женщина съ крестомъ.

Дэзи вспыхнула, но руки у нея словно сами поднялись и запрятали подъ косынку тщательно подвитые локончики.

— Умывальникъ въ углу. Потомъ идите сюда скорѣе, держите ему ногу.

Дэзи держала ногу, надъ которой возился докторъ. Она чувствовала, какъ дрожитъ эта нога мелкой дрожью стра-

данія; видѣла капли пота на лбу доктора и красное пятно на его щекѣ.

Раненый не стоналъ, а только тяжело дышалъ и вдругъ, слегка повернувъ голову, посмотрѣлъ на Дэзи.

— Спасибо, родная, спасибо, желанная, хорошо держишь. Такъ-то мнѣ легше, какъ ты держать стала.

Голосъ у него былъ слегка сдавленный, жалкій и ласковый; говорокъ на „о“.

— Лежи тихо, лежи тихо!—прикрикнулъ докторъ.

Дэзи смотрѣла, какъ докторъ старался ухватить длинными щипцами что-то тамъ въ глубинѣ раны.

— Тамъ пуля? — робко спросила она.

— Пуля,—отвѣчалъ докторъ.—Очень трудно извлечь.

И Дэзи долго держала эту тихо дрожащую страданіемъ ногу, и когда раненый охнулъ, она тихонько погладила его и шепнула:

— Ничего, ничего...

Каждое вздрагиваніе его она чувствовала и на каждое отвѣчала какою-то новой напряженной нѣжностью своей души, и когда, наконецъ, облегченно вздохнувъ, докторъ показалъ ей на сво-

ей окровавленной ладони круглую черную пулю, она вся задрожала радостью и еле удержалась, чтобы не заплакать.

— Господи, счастье какое! Господи счастье какое!

Потомъ, когда раненый уже лежалъ на своей койкѣ, усталый, но довольный и спокойный оттого, что и страхъ, и страданія уже кончились, Дэзи подошла къ нему и молча улыбнулась Улыбнулся и онъ простой дѣтской улыбкой сѣренькаго, рябенькаго, бородатаго мужичонки.

— Это ты, жаланная, ногу мнѣ держала? Спасибо, родная. Очень мнѣ отъ тебя легше стало, сестричка моя бѣлая.

Дэзи позвали къ телефону.

— Это очень хорошо, что вы въ лазаретѣ,—ласкалъ въ трубку Вово Бэкъ.

— C'est trés bien vu въ высшемъ обществѣ. Воображаю, какъ всѣ раненые въ васъ влюбляются.

Дэзи, не отвѣчая, тихо повѣсила трубку и тихо, но рѣшительно, словно навсегда, отошла отъ телефона.

Подошла къ своему рябому мужичонкѣ и, не поднимая глазъ, словно по глазамъ могъ бы онъ узнать, что она сейчасъ слышала, нагнулась къ нему.

— Тебѣ хорошо?

— Спасибо, родная.

— Какъ тебя зовутъ?

— Митрій Ящиковъ.

— Спасибо тебѣ, Дмитрій, что тебѣ хорошо. Я сегодня счастливая, а я еще никогда не была... Это я оттого, что тебѣ хорошо, такая счастливая.

И вдругъ она смутилась, что, можетъ быть, онъ не понимаетъ ея.

Но онъ улыбался простой, дѣтской улыбкой сѣренькаго, рябенькаго, бородатаго мужичонки.

Улыбался и все понималъ.

ЧУДЕСНЫЙ КИСЕТЪ

Е. А. Петровой,

Учительница посылала въ армію подарки отъ своей школы.

Дѣвочки сшили кисеты, купили по пачкѣ табаку и написали привѣтственныя письма.

— Луша, — сказала учительница школьной нянькѣ,—можетъ, и ты пошлешь что-нибудь.

Луша, мрачная, веснущатая, бѣлобровая, ничего не отвѣтила, но въ тотъ же вечеръ, сопя и вздыхая, сляпала изъ цвѣтныхъ тряпочекъ пузыристый кисетъ.

Кисетъ вышелъ на-славу, — даромъ что пузырился. Уголки сладились солидные изъ коричневой бумазеи. Можетъ и не такъ оно красиво, зато прочно. Пойдетъ солдатъ воевать, тонкіе углы живо сотрутся,— ну, а бумазея выдержитъ.

Потомъ розовый ситчикъ отъ учительницына капота, потомъ голубой съ цвѣточками отъ Лушинаго платья, отъ то-

го самаго, въ которомъ въ прошломъ году съ Васькой Холинымъ, съ непрощеннымъ, гулять ходила.

А въ самой серединѣ красота неописуемая,—лоскутокъ синій съ золотомъ, шелковый, вырѣзанный изъ старой туфли у прошлогодней барыни.

Можетъ, отъ этого лоскутка и распузырился кисетъ, да зато красота. Чего не простишь во имя красоты?

Написала Луша и письмо.

„Посылаю герою кисетъ и пачку табаку. Благодарю васъ, что вы насъ защищаете. Милый солдатикъ, хорошій солдатикъ и отъ Бога желаю.

Лукерья Щукина".

Отдала учительницѣ, та отправила.

— Вотъ, Луша, получишь благодарность изъ арміи.

На это Луша отвѣчала мрачно:

— Мы въ этомъ не нуждаемся.

Она была очень сердитая.

Школьницы-дѣвочки подпѣвали за ея спиной:

Лушка—вѣдьма,
Хуже черта,
Лушкинъ носъ
Второго сорта.

Учительница спрашивала:

— Отчего ты, Луша, такая невесе-

лая? Или у тебя кто родной на войнѣ?..

— Никого у меня нѣту, и быть никому не полагается.

Иногда забѣгала подруга.

— Луша, Луша! не дуйся ты такъ,— неровенъ часъ, лопнешь.

Луша сдвигала бѣлыя брови и отвѣчала вздрагивающими губами:

— И ничего я не дуюсь, и никакого воображенья не имѣю, чтобы дуться.

— Это ты все на Ваську сердишься. Сама накрутила. да сама и сердишься.

— И ничего я не крутила, а сдѣлала все по порядку. Какъ мнѣ Ѳеня сказала, что онъ къ ей въ гости ходитъ, я сейчасъ къ нему пошла и все по порядку поступила.

— А что поступила-то?

— А все, какъ полагается. Пошла, значитъ, къ ему въ дворницкую, а какъ его дома не было, я все по порядку и поступила. Полотенце шитое съ комоду содрала, подушку на полъ бросила, патреты евоные со стѣны сняла и всѣмъ шпилькой глаза потыкала. На вотъ тебѣ, получай,

— А онъ къ тебѣ потомъ приходилъ?

— А я и на глаза не пустила. Такъ и уѣхалъ не прощенный.

— А какъ убьютъ,—легко тебѣ будетъ?

Луша хотѣла что-то сказать, задохнулась и вдругъ закричала:

— Пошла ты вонъ отсюда! Чтобъ духу твоего тутъ не было. Болтаются по чужимъ кухнямъ... Дѣлать, видно, нечего, такъ къ людямъ приметываются!

Лицо у нея было все бѣлое, и посинѣлыя губы дрожали.

Подруга такъ быстро выскочила на лѣстницу, что даже свой шейный платокъ забыла. И зайти за платкомъ рѣшилась только недѣли черезъ три.

Настроила себя на боевой ладъ, приготовила вступительное слово:

— Ты мнѣ не больно куражься. Кабы не платокъ, такъ и ноги бы моей тутъ не было.

Но Луша встрѣтила ее такая тихая и ясная, что подруга и рта не открыла. Только молча поцѣловала ее и сѣла.

Лицо у Луши, словно омытое живой водой, глядѣло ласково и какъ бы торжественно. Бѣлыя брови легли спокойно и кругло.

— Ты что?—спросила подруга.

— Ничего.

— Ужъ говори, чего тамъ.

Луша улыбнулась, закраснѣлась, взяла съ подоконника жестяночку изъ-подъ бормановскаго печенья и вытащила оттуда смятый листокъ.

— Вотъ тутъ мое писанье, когда я кисетъ посылала, а на другой сторонѣ его отвѣтъ.

Подруга вслухъ прочитала Лушины каракули.

„Посылаю герою кисетъ и пачку табаку. Благодарю васъ, что вы насъ защищаете. Милый солдатикъ, хорошій солдатикъ и отъ Бога желаю.

Лукерья Щукина".

Прочитала, перевернула листокъ. На другой сторонѣ его четкимъ почеркомъ было выведено:

„Благодарю Лукерью Щукину за подарокъ, и я, милая Луша, всю жизнь только васъ и люблю и за васъ помирать готовъ, хоть за напраслину потерпѣлъ. Цѣлую васъ нечетное число разъ

Извѣстный вамъ рядовой Василій Холинъ".

— Кисетъ-то твой къ ему и попалъ?

— Къ ему!—счастливымъ шопотомъ отвѣчаетъ Луша.

— Кисетъ-то, кисетъ какой... чудесный!

— Чудесный...—шепчетъ Луша.

— Теперь что же?

— Теперь счастье...

— ———

ГЕРОИ.

Я только-что напоила горячимъ чаемъ раненаго въ обѣ руки бородатаго татарина, вытерла полотенцемъ его мокрые жиденькіе усы и выпрямилась.

Кто-то смотритъ на меня.

Оборачиваюсь.

Съ койки, что у противоположной стѣны, пристально смотрятъ два карихъ глаза. Подзываютъ, точно хотятъ сказать что-то.

Подхожу.

Напряженное, зовущее выраженіе пропадаетъ, и глаза, довольные и ясные, смотрятъ спокойно.

— Тебѣ чего?

— Ничего, сестрица. Очень даже все хорошо.

Онъ—большой бѣлокурый малый, съ рыжими подвинченными усиками. Дышитъ нѣсколько учащенно,—у него жаръ.

— Хорошо.

Онъ какъ-будто что-то хочетъ сказать или просто поговорить.

Подвигаю стулъ, сажусь.

— Ты куда раненъ?

— Въ ногу. Только это все пустяки, потому что я—герой.

— Что?

— Я—герой. Вотъ такой герой, про которыхъ въ газетахъ пишутъ. Читали, сестрица, въ газетахъ, что вотъ герои бываютъ на войнѣ?

— Какъ же, читала...

— Ну, такъ вотъ, если читали, сестрица,—такъ вотъ можете на меня посмотрѣть: я и есть такой самый герой, про которыхъ въ газетахъ пишутъ.

Онъ смотритъ на меня спокойно и ясно своими выпуклыми глазами, и я сразу понимаю, что онъ и не думаетъ хвастать, а просто и дѣловито разсказываетъ о фактѣ, равно интереснымъ какъ для него, какъ и для меня.

—Я, сестрица, съ самаго начала войны все время находился въ самомъ огнѣ непріятеля и ни разу не испугался. Очень просто: потому что я—герой.

— Молодецъ. А тебѣ,—обращаюсь я къ своему татарину,—было страшно?

Татаринъ зажмурился, затрясъ бороденкой.

— Очень страшно. Летитъ, гвазжитъ,

летитъ, гвазжитъ. Очень страшно, и помереть можно.

— Очень просто,—презрительно усмѣхнулся герой:—война! Чего же тутъ бояться? Разъ сказано: война,—значитъ, каждый долженъ понимать, что его могутъ убить. Такъ зачѣмъ же тутъ бояться? Разъ это—война, такъ очень просто.

Татаринъ немножко сконфузился и перемѣнилъ мнѣніе.

— Непріятно,—говоритъ онъ.—Летитъ сдалека и рѣзыть некого.

— Я былъ въ артиллерійской бригадѣ,—продолжаетъ герой.—Наблюдателемъ былъ. Все время лицомъ къ лицу съ врагомъ, и ни разу не испугался. Въ ста шагахъ отъ непріятеля былъ. Да что тамъ въ ста,—двадцати... Да что тамъ въ двадцати,—вотъ какъ та стѣна, такъ близко стоялъ. Схоронюсь себѣ за дерево, либо за что другое,—они и не видятъ. А я вижу. Не то что вижу,—каждый ихній дышокъ слышу. Смотрю; а въ рукѣ телефонная трубка. Сейчасъ, значитъ, передаю свою команду.

— Рана не болитъ?

— Пустяки. Ослабѣлъ только. А когда меня на носилкахъ несли, командиръ мнѣ ручку пожалъ. „Спасибо,—говоритъ,—я твою работу знаю, я тебя къ

Георгію представлю". Меня моя бригада очень знала. Если бы не ослабѣлъ, я бы хоть завтра, вотъ хоть сейчасъ назадъ и непремѣнно, чтобъ въ свою бригаду Просить буду, до самаго высшаго начальства пойду, только чтобы въ мою, бригаду. А рана заживетъ. Шрапнель. Очень просто—война.

Въ перевязочной обычная суетня.

— Вату!

— Шину!

— Іодъ!

— Іодъ!

— Ухъ! Ухъ!—пыхтитъ отъ боли татаринъ, которому заливаютъ іодомъ красную культяпку, гдѣ когда-то были пальцы.

Докторъ нагнулся и осматриваетъ другого раненаго.

— Шрапнель?

— Шрапнель.

— Сейчасъ посмотримъ.

Онъ нажимаетъ, ощупываетъ ногу выше колѣна и вся нога, скорченная, со скрюченными отъ боли пальцами, начинаетъ мелко дрожать.

— У-у-у-у! — тихо воетъ раненый. — У-у-у...

Скрипятъ крѣпко стиснутые зубы. Это—онъ. Это—герой.

— У-у-у! Не трогай! Не трогай!

Росинки пота выступаютъ на его поблѣднѣвшемъ лицѣ.

— Сухая повязка. Іодъ,—говоритъ докторъ и отходитъ.

Я бинтую ногу героя. Онъ все еще дрожитъ всѣми мускулами, и когда я поднимаю на него глаза, онъ закрываетъ свои. Я понимаю: ему не хочется, чтобы я узнала его теперь.

— Сегодня прибылъ?

— Сегодня.

Теперь для него ясно, что я не узнала его. Гдѣ тамъ разберешь,—столько народу, столько работы...

Черезъ часъ подхожу къ его койкѣ.

Онъ—въ чистомъ бѣльѣ, вымытый, прибранный, успокоенный.

— Ну, что,—спрашиваю,—тебя перевязали?

Онъ тоже притворяется, что не узналъ меня.

— Спасибо, сестрица, перевязали.

— Больно было?

— А какъ же? Безъ того нельзя. Рана. Заживетъ, и не будетъ больно.

— Нэ будитъ! Нэ будитъ! — вдругъ разсердился татаринъ.—Вотъ отрѣжутъ ногу, тогда и нэ будитъ. Ни рана нэ

будитъ, ни нога не будитъ, ничего нэ будитъ.

Герой презрительно повелъ ясными выпуклыми глазами.

— Я этого не боюсь. Что жъ тутъ такого? Пусть! Очень просто—война.

ИХЪ ДѢТИ.

Теперь такъ много говорятъ о будущей Германіи,—о томъ, въ какія рамки улягутся всѣ международныя отношенія, не столько политическія, сколько этическія.

Каждаго интересуетъ вопросъ:

— Смогу-ли я когда-нибудь простить имъ?

И еще:

— Какъ будутъ они жить потомъ, съ клеймомъ позора?

— А ихъ дѣти? Какъ искупятъ они вину родителей? Тяжело будетъ имъ, потому что будетъ стыдно.

И вотъ я вспомнила объ „ихъ“ дѣтяхъ. О той будущей Германіи, которая „будетъ нести клеймо позора“.

Я вспомнила.

Яркій весенній день. Зеркальный асфальтъ Берлина звонко отвѣчаетъ ударамъ каблуковъ. Эта узенькая улочка, куда выходитъ окно моей комнаты, по-

хожа на коридоръ дорогого отеля,— такъ она чиста и нарядна и украшена цвѣтами.

Какъ-разъ противъ меня городская школа.

Скоро начнутся уроки.

То въ одномъ, то въ другомъ окнѣ, обрамленномъ вьющимися бархатно-оранжевыми цвѣтами, показывается фигура учительницы, —рослой бѣлокурой дѣвушки, совсѣмъ еще молодой. Руки у нея, какъ лапы у породистаго щенка, слишкомъ велики по ея росту. Волосы туго свернуты на затылкѣ, юбка прикрыта полосатымъ передникомъ.

Учительница вытираетъ пыль съ подоконниковъ и поетъ тонкимъ носовымъ сопрано популярную сантиментальную пѣсенку:

Das war im Schöneberg
Im Monat Mai.

Поетъ наивно-убѣдительно, сама вся розовая, вся свѣжая и чистая.

А внизу уже собираются дѣти.

Раньше опредѣленнаго часа они войти въ школу не смѣютъ. Опоздать тоже боятся и поэтому ждутъ у подъѣзда.

Плотные, румяные мальчишки разсказываютъ другъ-другу что-то дѣловое, серьезное.

Вѣроятно, о томъ, какъ кто-то кого-то билъ, потому что выраженіе лица у нихъ вызывающее, и сжатый кулакъ то угрожающе трясется въ воздухѣ, то подъѣзжаетъ подъ самый носъ собесѣдника.

Дѣвочки чинно стоятъ или прогуливаются подъ-ручку мимо подъѣзда. Двѣ или три тутъ же вяжутъ крючкомъ толстыя уродливыя кружева—свое будущее приданое.

„Das war im Schöneberg“,—звенитъ изъ бархатно-оранжевыхъ цвѣтовъ голосокъ учительницы.

Дѣвочки покачиваютъ въ тактъ гладко расчесанными головками. Придетъ ихъ время,—и онѣ тоже запоютъ о томъ, какъ сладко цѣловаться въ веселомъ Шонебергѣ въ зеленый мѣсяцъ май.

Вдоль улицы, прижимаясь къ стѣнамъ, медленно ковыляетъ маленькая темная фигурка. На спинѣ ранецъ, такой же, какъ и у всѣхъ школьниковъ, но онъ кажется огромнымъ, онъ торчитъ далеко отъ затылка, потому что мальчикъ, несущій его,—горбунъ. Медленно ковыляетъ маленькій калѣка, подпирая костылемъ высокое острое правое плечо. Подходя къ школѣ, онъ движется все медленнѣе.

Ему трудно, или просто усталъ, но, кромѣ того, онъ какъ-будто боится че-

го-то. Онъ такъ жмется къ стѣнѣ и, на минуту укрывшись за водосточной трубой, вытягиваетъ шею и смотритъ на группу дѣтей у подъѣзда.

Потомъ вдругъ, точно выбравъ моментъ, быстро, насколько позволяетъ костыль, перебѣгаетъ черезъ улицу и, притаившись за большимъ фургономъ съ мебелью, долго тяжело дышитъ. Потомъ, снова вытягивая шею, смотритъ на дѣтей и снова прячется.

Можетъ-быть, онъ играетъ и хочетъ, чтобы дѣти искали его?

Но онъ стоитъ тихо,—такъ тихо, что потрясающіе кулаками дѣловитые румяные мальчики и озабоченныя будущимъ приданымъ дѣвочки, повидимому, и не подозрѣваютъ объ его присутствіи.

Но вотъ смолкаетъ пѣсня о Шонебергѣ и поцѣлуяхъ. Звенитъ острый, тонкій колокольчикъ, и дѣти, подталкивая другъ-друга, быстро входятъ въ подъѣздъ. Маленькій калѣка, вытянувъ шею, наблюдаетъ за ними.

Когда закрылась дверь за послѣднимъ румянымъ мальчикомъ, горбунъ выждалъ минутку и вдругъ рѣшительно заковылялъ прямо къ школѣ. Онъ съ трудомъ протиснулся въ тяжелую дверь, весь кривой, маленькій и испуганный.

Въ продолженіе двухъ часовъ съ не-

большимъ перерывомъ изъ окошекъ, цвѣтущихъ бархатистыми цвѣтами, доносится громкій повелительный голосъ учительницы.

Голосъ этотъ рѣзкій, злой, невыносимый. Голосъ этотъ не пѣлъ никогда о сладкихъ поцѣлуяхъ мая, онъ ничего не могъ о нихъ знать,—это мнѣ, вѣрно, послышалось. И снова зазвенѣлъ острый колокольчикъ, и толпа дѣтей распахнула двери подъѣзда.

Маленькаго калѣки не было съ ними. Онъ вышелъ, когда они были уже въ концѣ улицы, и снова спрятался за фургóнъ съ мебелью.

Но ему не повезло. Одна изъ чистенькихъ дѣвочекъ, обернувшись, замѣтила его маневръ. Она засмѣялась, захлопала въ ладоши и закричала что-то.

Ну, конечно, моя первая догадка была вѣрной. Конечно, это—игра, веселая дѣтская игра.

Дѣти бѣгутъ, смѣются.

Но какой странный маленькій горбунъ. Онъ весь притихъ, онъ втянулъ голову въ плечи и такъ странно дрожитъ. Неужели онъ плачетъ?

Дѣти подбѣгаютъ къ фургону.

Впереди всѣхъ та дѣвочка, которая первая замѣтила его. Она визжитъ, кричитъ какое-то слово, которое я не могу

разобрать, и громко смѣется. Она, должно-быть, самая веселая, эта бѣлобрысая дѣвочка. И потомъ она первая замѣтила, какъ прячется ихъ маленькій товарищъ, и, должно-быть, чувствуетъ себя царицей этой забавной игры.

Они всѣ бѣгутъ и всѣ визжатъ, и всѣ повторяютъ то же слово.

И вдругъ горбунъ громко заплакалъ и побѣжалъ,—побѣжалъ большими прыжками, упираясь всѣми силами на свой костыль. Онъ на-ходу поворачивалъ къ дѣтямъ свое жалкое лицо съ распяленными блѣдными губами и все плакалъ громко, привычнымъ и имъ, и ему плачемъ.

— Уродъ! Уродъ!—смѣялись дѣти.

Теперь я отчетливо разслышала это слово:

— Уродъ!

А маленькая дѣвочка, царица игры, быстро скрутила какой-то комочекъ,—можетъ-быть, изъ тряпокъ, можетъ-быть, изъ камешковъ,—и бросила его вслѣдъ горбуну.

Дѣвочка была ловкая,—комочекъ щелкнулъ горбуна прямо по короткой ногѣ.

— Уродъ! Уродъ!

Изъ цвѣтущаго окошка высунулась голова учительницы.

Усмѣхнулось розовое лицо. Но она погрозила пальцемъ и сказала рѣзко и опредѣленно:

— Ruhig! Тише! На улицѣ нужно вести себя прилично.

Дѣти притихли, зашептались и, съ трудомъ гася вспыхнувшее веселье, стали чинно расходиться.

Горбунъ скрылся за угломъ.

Въ цвѣтущемъ бархатно-оранжевомъ окошкѣ долго улыбалось полное розовое лицо, спокойное, довольное, и тонкій носовой голосокъ сантиментальноиискренно звенѣлъ о радости весеннихъ поцѣлуевъ.

НА ПУНКТѢ.

Безконечное бѣлое пространство. Или, можетъ-быть, только теперь, ночью, кажется оно такимъ ровнымъ, серебряно-бѣлымъ.

Вдали мигаетъ огоньками пощаженный нѣмцами городокъ.

— Только всѣ столбы и заборы пожгли. Топлива не было, — говорятъ про городокъ.

По дорогѣ и тамъ, въ дали серебряно-бѣлой, бродятъ свѣтлячки-фонарики. Вотъ одинъ свѣтлячекъ погасъ, снова вспыхнулъ и снова погасъ нѣсколько разъ подъ-рядъ, въ разномѣрные промежутки времени — это сигналъ. Кто-то кому-то говоритъ, спрашиваетъ, предупреждаетъ. А съ другой стороны два близкихъ ровныхъ свѣтляка спѣшатъ, торопятся съ все возрастающей скоростью, — это поѣздъ бѣжитъ за ранеными.

И все это бѣлое пространство — не обычно зимнее, мертвое. оно все живетъ,

шевелится, копошится, огоньками передвигается, фонариками переглядывается, все живетъ жизнью напряженной и таинственной. Тяжело вздыхая, останавливается запыхавшійся локомотивъ. Темныя фигуры санитаровъ и сестеръ разбредаются по станціи, ждутъ своего живого груза.

И навстрѣчу имъ издалека, изъ бѣлой мглы, заискрились бисернымъ ожерельемъ красные фонарики вагонетокъ полевой дороги. Ихъ много, — это цѣлый караванъ. Подъѣзжаютъ, подкатываются огонекъ за огонькомъ. Остановился первый, а послѣдній тамъ, далеко въ полѣ. Паровоза нѣтъ. Движутся вагонетки конной тягой. Въ каждую впряжено по двѣ лошади, но не спереди, а по бокамъ. Вожатый стоитъ у тормоза, на передней площадкѣ, такъ что лошадей подхлестываетъ по мѣрѣ надобности вожатый слѣдующей вагонетки.

Колеса катятся по рельсамъ, — раненыхъ не трясетъ, имъ удобно.

Вагонетки подъѣзжаютъ къ длиннымъ баракамъ и палаткамъ, приготовленнымъ для раненыхъ. Здѣсь ихъ осматриваютъ, кормятъ, перевязываютъ, даже оперируютъ и сортируютъ на тяжелыхъ, которыхъ повезутъ въ Варшаву на носилкахъ, легкихъ, которые поѣдутъ, какъ

обыкновенные пассажиры, и на очень тяжелыхъ, которые будутъ лежать здѣсь, въ полевомъ баракѣ, пока не поправятся настолько, что ихъ можно будетъ двинуть дальше.

Въ баракахъ и палаткахъ кипитъ работа. Во время большихъ боевъ сюда доставляютъ по двѣ тысячи раненыхъ въ день. И всѣ они должны быть во время накормлены, перевязаны и отправлены дальше.

Въ длинныхъ баракахъ—обычно.

Въ палаткахъ—занятно.

На душистой хрустящей соломѣ валяются, отдыхаютъ легко раненые. Человѣкъ пятьдесятъ-шестьдесятъ. Говорятъ, что когда большой наплывъ, въ такой палаткѣ помѣщается и до ста.

Стоятъ люди, и, кажется, шевельнуться негдѣ, а, смотришь, подмялся какъ-то да и легъ,—и каждому мѣсто есть. Словно кадку насыпали яблоками горой, а потрясли немножко, — она и утряслась, и всему свое мѣсто.

Посреди палатки — котелъ со щами. Ѣдятъ лежа, медленно, пріятно. Радуются теплу, сытости, уюту и, главное, безопасности.

— Смотрите, — говорятъ про нихъ:— какая чисто-животная радость!

Да, это такъ. И это хорошо. Слиш-

комъ долго напрягались всѣ силы духа, чтобы преодолѣть животный инстинктъ самосохраненія. И теперь радость—отдыхъ отъ этого напряженія.

— Вотъ руки мои и ноги мои, и голова, и весь я здѣсь, спокойный, теплый, и радостный, и никто не посягаетъ на тѣло мое, но стараются оберечь и сохранить его.

Ласково шуршитъ душистая солома. Зарывшись въ нее съ головой, сладко спятъ истомленные тревогой и холодомъ.

Трудно будетъ разбудить ихъ, чтобы вести дальше. А пора. Скоро прибудетъ новый поѣздъ новыхъ вагонетокъ съ новыми ранеными. Нужно очистить мѣсто.

Приходятъ санитары, начинаются сборы.

Въ санитарныхъ поѣздахъ, отвозящихъ раненыхъ изъ Г. въ Варшаву, работаетъ еврейская организація. Работаетъ великолѣпно, безъ вознагражденія, безъ отдыха, самоотверженно, бодро и плодотворно.

Про еврейскую организацію говорятъ:

— Она такъ великолѣпно работаетъ, что, при всемъ желаніи, нельзя сказать про нее ничего худого.

Наивный человѣкъ могъ бы спросить:

— „При всемъ желаніи“? А развѣ у кого-нибудь есть такое желаніе—непремѣнно сказать про все худое?

Удивительно бываютъ странные обороты въ русскомъ языкѣ!

Раненыхъ переносятъ на носилкахъ или просто на спинѣ въ вагоны. Легко раненые идутъ-бредутъ сами.

Настроеніе возбужденно-бодрое у тѣхъ, кто можетъ идти самъ; даже не любятъ, чтобы помогали.

Вотъ шагаетъ по платформѣ диковинная фигура; фигура человѣческая, а на плечахъ, вмѣсто головы, огромный бѣлый шаръ. Въ шарѣ продѣлана крошечная щелочка для одного глаза, а пониже—еще дырочка, изъ которой торчитъ папироска.

Но ведетъ себя шаръ очень бодро и независимо. Самъ ищетъ себѣ въ вагонѣ мѣсто поудобнѣе и весело подшлепываетъ санитаровъ.

Въ послѣднюю минуту послѣ третьяго звонка, вдругъ вынырнулъ откуда-то маленькій человѣчекъ въ синей шинели, съ ранцемъ за плечами и въ фуражкѣ безъ козырька. Уцѣпился человѣчекъ за вагонъ и лѣзетъ.

— Стой!—кричатъ.—Нѣмецъ! Нѣмецъ!

Остановили.

— Ты что?

Молчитъ.

— Раненый, что ли?

Придурковатое бѣлобрысое лицо смотритъ растерянно.

— Куда раненъ? Полякъ, что ли?

Тотъ киваетъ головой.

— Полякъ.

— Куда же ты раненъ?—спрашиваютъ по-польски.

Мнется.

— Такъ, трошечки въ спину штыкемъ...

— Ну, пошелъ въ баракъ,—тамъ разберутъ, въ чемъ дѣло.

Уводятъ подъ конвоемъ.

— Это они всегда дурачками прикидываются.

Неужели шпіонъ? Такой жалкій, глупый, бѣлобрысый. И такъ глупо полѣзъ при всѣхъ. На что разсчитывалъ? На сутолоку или добродушіе. Пусть, молъ, ѣдетъ въ Варшаву,—потомъ разберемъ, раненъ онъ въ спину „трошечки штыкемъ“ или просто вретъ.

ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНАЯ НАТУРА.

Деревушка вся была разбитая вдребезги, какъ старая чашка. Нѣмцы исколотили ее своими огромными снарядами и ушли,—точно дѣло сдѣлали.

Въ верстѣ отъ деревушки торчитъ труба кирпичнаго завода. На ней три яркихъ заплаты изъ новаго кирпича—гордость владѣльца завода. Еще бы! Нѣмцы подняли неистовую пальбу по трубѣ; разбили ее въ трехъ мѣстахъ, а свалить такъ и не могли.

— Вотъ какой кирпичъ выдѣлываетъ мой заводъ!—хвастается хозяинъ:—противъ нѣмецкихъ „чемодановъ“ устоялъ.

И торчитъ труба гордая, выше прежняго,—выше потому, что деревушка, обезкрышенная, раздавленная, словно къ землѣ присѣла.

Но и она уже оживаетъ. Запестрѣли стѣны заплатками изъ свѣжаго теса, коегдѣ на стропилахъ зажелтѣла гременная

соломенная кровля. Налаживается жизнь, возвращаются люди.

Въ тотъ страшный день, когда налетѣла нѣмецкая артиллерія, деревушка была пуста. Жители успѣли во-время скрыться, забравъ свой скарбъ.

Во всей деревнѣ остался только одинъ житель, ни за что не пожелавшій покинуть своей хаты. Это былъ Игнатій Сливка. О немъ-то я и хочу разсказать.

———

Мы бродили по полю, осматривали опустѣвшіе окопы,—искали, не найдемъ ли какого любопытнаго осколка отъ снарядовъ.

Мѣсто было интересное. Наши окопы встрѣчались съ нѣмецкими и переливались черезъ нихъ. Издали смотрѣть,— словно двѣ рѣки взмывались волнами навстрѣчу другъ-другу, и вотъ одна остановилась, другая черезъ нее перекинулась и повернула русло.

Но ничего въ окопахъ уже не было. Изъ сосѣдняго городка и изъ деревень нахлынуло сразу послѣ нѣмецкаго отступленія много любопытныхъ и разобрали на память всѣ кусочки и осколочки.

Но это было не такъ важно. Хотѣлось разыскать и побесѣдовать съ Игнатіемъ

Сливкой. Намъ о немъ еще на станціи разсказывали.

Подумать только! человѣкъ остался одинъ въ цѣлой деревнѣ, черезъ которую перелетали и наши и нѣмецкіе снаряды. А потомъ туда же пришли нѣмцы, и онъ одинъ видѣлъ ихъ, и они видѣли, что онъ одинъ въ цѣлой деревнѣ. Подумать жутко! Чего только онъ не перечувствовалъ! Какъ съ ума не сошелъ!

Искать Сливку пришлось недолго. Онъ самъ вылѣзъ изъ-подъ какого-то забора, точно поджидалъ насъ. И прямо сказалъ:

— А я здѣсь.

Очевидно, любопытствующіе уже пріучили его къ разспросамъ. Онъ подошелъ спокойно и дѣловито, маленькій, худенькій, загорѣлый, съ энергично сдвинутыми бровями, съ сѣдоватыми бачками.

— Ну, Сливка, разскажите намъ, пожалуйста, какъ нѣмцы тутъ были.

Онъ прокашлялся.

— А вотъ спустили они прудъ у помѣщика, воду всю выпустили, а тамъ, въ пруду, караси были. Такъ они всѣхъ карасей переловили. Два ведра полныхъ. Во какіе караси!

Онъ показалъ ладонями величину карася, и такъ какъ былъ, повидимому, человѣкъ честный, то долго сдвигалъ и

раздвигалъ руки, чтобы быть точнымъ. Наклонилъ голову, приглядѣлся сбоку.

— Во какіе! Жир-р-рные! Потомъ побѣжали нѣмцы и карасей побросали,— мнѣ полведра осталось. Га! Во какіе!

Онъ опять нашелъ точную величину карася и долго трясъ руками:

— Во какіе! Караси! Во!

— Ну, разскажите намъ, Сливка, страшно вамъ было, когда снаряды въ деревню полетѣли?

— А, страшно!—нехотя отвѣтилъ онъ, задумался, усмѣхнулся:

— Во какіе, ей-Богу!

— Что?

— Да караси. Полведра оставили. Какъ стали убѣгать, заторопились и полведра карасей оставили. А всего ведра два наловили. Во!

— Слушайте, Сливка, а они какъ къ вамъ отнеслись? Вѣдь, вы тутъ одинъ во всей деревнѣ остались. Что же, они грубо съ вами обращались?

— А какъ же!—вяло отвѣтилъ онъ.— Очень даже. А только въ пруду больше, видно, ужъ карасей никогда не будетъ. Все выловили дочиста. И приплоду не отъ кого ждать.

— А сами нѣмцы боялись все-таки, чувствовали, что наши ихъ прогонятъ?

— Жирные!

— Что?

— Караси. Во! Съ тарелку будутъ. Да куда тамъ съ тарелку. Тарелка-то еще какая попадется. А карась-то во! Какъ сковорода.

Мы долго молчали и, вздохнувъ, спросили безнадежно:

— Что, Сливка, должно-быть, никогда не забудете, какъ вы одинъ тутъ оставались въ разрушенной деревнѣ, совсѣмъ одинъ, а кругомъ орудія ревутъ, и горятъ дома, и вихрь огневой, и дымъ черный, и лютая смерть? Жутко было вамъ? Никогда не забудете?

Онъ сплюнулъ черезъ зубы, отвѣтилъ, зѣвнувъ:

— Гдѣ ужъ тамъ забудешь. Нѣмцы, извѣстно, не сладкіе. Въ пруду-то всю воду выпустили. Я никогда и не думалъ, чтобъ тамъ такіе крупные караси были. Во! Что тарелка! Съ тарелкой и не сравню! Во!

Мы ждали своего поѣзда на маленькой станціи около сливкиной деревушки.

Скучали, зѣвали, искали глазами желанный дымокъ.

Въ концѣ платформы собралась группа,—очевидно, какъ мы, пріѣхавшихъ полюбопытствовать: господинъ съ ко-

кардой, три дамы и гимназистъ. Они окружили кого-то, слушали.

— Посмотримъ, что тамъ такое...

Тамъ оказался Сливка.

Мы не подошли близко. Мы еще издали увидѣли его жесты: онъ раздвигалъ и сдвигалъ распяленныя руки, пригнувъ голову, намѣчалъ точную величину и восторженно трясъ головою:

— Во! Во!

———

ВАНЯ ЩЕГОЛЕКЪ.

Врачъ былъ опытный. Осмотрѣвъ раненаго № 67, сказалъ:

— Отдѣлить и понаблюдать.

Я тоже стала опытная и поняла: „отдѣлить и понаблюдать“ значило, что номеру шестьдесятъ седьмому капутъ.

— До утра доживетъ? — спросила я тихонько.

Докторъ поморщился, двинулъ губами вбокъ, приподнялъ глаза и ничего не сказалъ. Это значило,—можетъ быть, но вѣрнѣе, что нѣтъ.

Мое дежурство кончится въ двѣнадцать ночи. Передамъ я его живымъ,—этотъ номеръ шестьдесятъ седьмой?

Его перенесли въ уголокъ около двери—иначе отдѣлить невозможно при нашей тѣснотѣ.

Онъ былъ очень молодой, какой-то весь яркій и горящій.

— Чего они на меня все морщатся?— сердито спросилъ онъ. — Думаютъ — я помру? Ничего я не помру. Такъ и скажи

имъ, что не помру. Выдумали тоже. Некогда мнѣ.

— Что тебѣ некогда?

— Помирать некогда. Я домой поѣду. Пускай смерть за мной въ сугонь бѣжитъ. Я отъ ей утекну. Я ни-за-что не помру. Некогда мнѣ. Хочу домой. Дома красиво. Я и самъ баской.

Онъ повернулся, чтобы я видѣла его лицо. Дѣйствительно, красивъ былъ. Смуглый, быстроглазый, съ сросшимися союзными бровями—будто черная птица раскинула крылья.

Показалъ онъ лицо свое такъ просто, словно не его оно, а какая-нибудь посторонняя красивая вещь, что досталась ему случайно, онъ и радуется.

— Вотъ смотри.

Ну, что тутъ скажешь?

— Лежи тихо, не вертись. А то больно будетъ.

— Домой хочу. Все красиво будетъ. Ничего дрянного не хочу. Прочь его. Раскидаю направо, налѣво.

Онъ вдругъ раздвинулъ брови, полуоткрылъ ротъ, словно улыбнулся.

— А видала ты, сестрица, какъ лебеди пьютъ?! Дикіе лебеди. У насъ въ Сибири много. Не видала? Нужно съ подвѣтру тихо подойти, камышъ не рушить—ти-ихо. Онъ вѣдь не человѣкъ,

онъ гордый, близко не подпуститъ. Тихонько смотри. А онъ грудью на воду ляжетъ, а той воды, что всѣ видятъ, да всѣ знаютъ, пить не станетъ. Онъ ударитъ клювомъ вправо, влѣво, размечетъ брызгами, разобьетъ гладь—гей!—да въ самую въ сердцевину, въ нетронутую, въ невиданную, въ незнанную голову окунетъ. А ты смотри, не дыхни. Онъ—не человѣкъ, онъ гордый, онъ не подпуститъ. Ты не видала? Я видалъ. А ты говоришь помирать!

— Что ты, голубчикъ! Я не говорила. Богъ дастъ поправишься.

— Пущай смерть въ сугонь бѣжитъ—утекну. Я, Ваня Щеголекъ, первый бѣгунъ, первый игрунокъ. Мнѣ некогда, мнѣ еще надо на полянку ходить, вѣдмедя смотрѣть. Луна свѣтитъ, томно ему. Лежитъ на спинѣ, брюхо мохнато, лапы задралъ, гнилую корягу цапаетъ. Бренькаетъ гнилье, щепится—бррррынь. А вѣдмедь цапнетъ да слушаетъ да урлитъ—уррр... Поетъ,—ндравится. А зимой въ мерлогѣ тихо у его. Тепло. Лапу сосетъ и сны снитъ. Снитъ, быдто лапу-то въ медъ запустилъ. Сосетъ. Сладко. А пчелы кругомъ такъ и звенятъ, такъ и гудятъ, заливаются. Шевельнулся, проснулся—анъ и не пчелы, а собаки, псы человѣчьи

надъ мерлогой брешутъ, лаютъ заливаются. Страхъ въ животъ подступилъ. Вскочилъ—и нѣтъ ничего. И все самъ наснилъ. Обидится, уляжется, опять лапу засосетъ; вѣдмежій покой до весны сладокъ. А весной вылѣзетъ—худой, шерсть мотается, шкура-бура болтается — смѣхота. А ты говоришь — помирать.

— Помолчи-ка ты лучше, усни.

— Не хочу спать. Некогда мнѣ. Я домой хочу. Лѣсныхъ-то людей, небось, не видала? А я увижу. Наши-то видали. Въ тайгу надо подальше, да поглыбже, низкомъ, ползкомъ по подкорью, топорикомъ врубаться, вѣкшей продираться, гадючкой прошныривать. А тамъ полянка, а на полянкѣ они и бываютъ. Сидятъ, лапти плетутъ. Какъ выскочишь на нихъ, сразу гони, пугай, не давай имъ другъ къ дружкѣ прицѣпиться, потому лѣсной человѣкъ кажный объ одной ногѣ. У одного правая, у другого лѣвая. Обнимутся вмѣстѣ и побѣгутъ. И загубить могутъ христіанскую душу. А какъ не дать имъ другъ до дружки добѣжать да спариться, тутъ они на одной ножкѣ прыгъ, скокъ да и свалятся. Тогда бери голой рукой, поясомъ вяжи, домой тащи, а онъ же и сказки, и пѣсни, и было-небыло, все. А ты говоришь—помирать. Мнѣ нельзя помирать, мнѣ некогда. Я

Ваня Щеголекъ, первый бѣгунъ, первый игрунокъ. Пущай она за мной въ сугонь бѣжитъ. Я утекну. Плечи у меня широкія, ноги крѣпкія и самъ я баской. Ни-за-что не помру.

Въ полночь смѣнили меня. А утромъ я снова пришла въ лазаретъ.

Спрашивать не хотѣлось. Пошла прямо къ тому мѣсту, къ углу у двери.

Кровать стояла бѣлая, тихая, ровная, застланная чистой, гладкой простыней,

Ровно, гладко... Нѣту Вани Щеголька.

Кончено.

...„Знаешь ты, какъ лебеди пьютъ? Дикіе лебеди? Воду нетронутую, невиданную, незнанную?“...

Знаю.

НОВЫЕ ВРАЛИ.

Всѣ мы съ дѣтства знаемъ, какъ вретъ мирный обыватель въ мирное время.

Обычное вранье на обычныя темы. Къ нему такъ привыкли, что даже съ человѣкомъ, бесѣдующимъ съ вами первый разъ въ жизни, инстинктивно прикидываешь: на сколько процентовъ довѣрія можно рискнуть по отношенію къ нему.

Со старыми знакомыми,—тамъ дѣло привычное и чрезвычайно легкое. Всѣ настоящіе врали—большею частью спеціалисты, и каждый изъ нихъ вретъ только по своей отрасли, оставляя въ неприкрашенной и скучной правдѣ всѣ остальныя жизненныя явленія.

Есть, напримѣръ, врали политическіе. Честнѣйшій человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ, онъ, радъ не радъ, долженъ врать-лишь только разговоръ коснется политики. Онъ объявляетъ войны, да не какія-нибудь, а между малороссами и южно-гвинейцами или между Парагваемъ и

Ватиканомъ. Онъ самъ удивляется, можетъ быть, даже больше и искреннѣе, чѣмъ всѣ его собесѣдники, но ничего не подѣлаешь. Вретъ. Словно въ немъ два человѣка: одинъ исполняетъ тяжелую, возложенную на него судьбой обязанность, то-есть вретъ, а другой удивляется, волнуется, вѣритъ съ трудомъ. Лицо у него въ такіе моменты напряженное, глаза выпученные, въ позѣ отчаяніе.

Заговорите съ нимъ на другія темы,— онъ станетъ вялъ, спокоенъ и честенъ.

Другой — наоборотъ. Индиферентно искрененъ въ вопросахъ политическихъ, но неистовъ къ искусству. Будетъ увѣрять, даже безъ надежды на успѣхъ, что самъ Моцартъ написалъ музыку къ пушкинскому „Моцартъ и Сальери".

Спеціальность третьяго—ворочать тысячами.

— Вчера видѣлъ у антиквара пепельницу временъ ... э-э-э-э ... этого, какъ его ... Стоитъ восемьсотъ тысячъ.

— Знаете сколько стоитъ постройка желѣзнодорожнаго пути? Пятнадцать милліардовъ верста!

Ему ничего въ сущности не надо. И никакой для него нѣтъ ни чести, ни славы, что верста такъ дорого стоитъ, а вотъ вретъ.

Если-бы хоть позавидовалъ кто-нибудь, сказалъ бы.

— А счастливецъ этотъ Иванъ Петровичъ! Верста-то пятнадцать милліардовъ стоитъ, чтобъ ему лопнуть.

Вѣдь даже на это скромное удовольствіе онъ разсчитывать не можетъ

Вретъ безкорыстно и самоотверженно.

За этотъ годъ всѣ эти спеціалисты сбились съ толку. Интересы общества сконцентрировались на войнѣ, а насчетъ версты или табакерки никто и слушать не станетъ.

И вотъ врали, бросивъ свою узкую спеціальность, стараются, по мѣрѣ силъ и возможности, служить интересамъ общества.

Тутъ они раздѣляются только по настроенію: на бодрыхъ и зловѣщихъ.

— Война? Ужасы? Да полноте, какіе тамъ ужасы!—недоумѣваетъ бодрый.

— Ну, знаете ... все-таки ...

— Ничего не все-таки. Эпидемій никакихъ нѣтъ, раненыхъ нѣтъ.

— Ну, какъ такъ нѣтъ! Смотрите—сколько лазаретовъ. Конечно, есть раненые.

— Да, но очень легко!

— А убитыхъ вы не считаете? Убитые-то вѣдь есть?

— Да ... но очень легко.

— А знаете, кто очень помогаетъ нашимъ казакамъ?

— Кто?

— Блоха. Да. особый видъ блохи со спеціальнымъ латинскимъ названіемъ. Въ родѣ клопа. Это еще покойный Менделѣевъ изобрѣлъ. Понимаете? Блохѣ впрыскиваютъ ея собственное бѣшенство. Такая блоха, укусивъ человѣка въ пятомъ поколѣніи, развиваетъ въ немъ неистовое мужество. И вотъ, по счастливой случайности, блохи эти водятся преимущественно на нашей западной окраинѣ.

— А почему же онѣ нѣмцевъ не кусаютъ?

— Неужели вы не понимаете? Плохо слѣдите за научной литературой. Еще недавно производились опыты надъ насѣкомыми. Взяли какихъ-то паразитовъ и подставляли имъ по очереди разныя руки. Руку чернокожаго, руку китайца, семита, арійца и еще нѣсколькихъ человѣкъ. Чернокожаго ни одинъ паразитъ не тронулъ. Наоборотъ, бѣжали съ ужасомъ и по дорогѣ хворали (подъ микроскопомъ все было видно). И представьте себѣ, итальянца тоже сначала не хотѣли. Онъ пошелъ въ сосѣднюю комнату, перемѣнилъ подданство, вернулся уже русскимъ гражданиномъ,—и облѣпили.

Поразительно. А вы еще спрашиваете, почему нѣмцевъ не трогаютъ.

Зловѣщіе врутъ мрачно и сами тоскуютъ.

— Слышали, какую нѣмцы штучку придумали? Поручили своимъ химикамъ изобрѣсти землеразмягчительный порошокъ. Понимаете? Посыплютъ на землю,—и сейчасъ же на самомъ твердомъ грунтѣ дѣлается болото. Увѣряю васъ. Ночью подползаютъ къ нашимъ окопамъ и посыпаютъ. Подъ каждаго русскаго солдата не больше пяти граммъ порошка. И расходъ небольшой. Ужасная вещь! Подумайте только, съ вечера устроились на сухомъ мѣстѣ, а взошло солнце, вы—на болотѣ. Мокреть, лягушки, и цапля на одной ногѣ стоитъ.

— Видали вы, какихъ къ намъ раненыхъ привозятъ? Ужасъ! Ужасъ! Марья Петровна пошла на вокзалъ мужа встрѣчать. Писалъ, что раненъ, а какъ и что, въ подробности не вдавался. Ну-съ, бѣгаетъ она по вокзалу, ищетъ его, вдругъ слышитъ: „Маруся, я здѣсь“. Смотритъ,—никого нѣтъ. Вдругъ опять: „Маруся, чего же ты не здороваешься?“. Приглядывается,—ужасъ! Представьте себѣ: небольшая коробочка, прямо санитаръ подъ мышкой несетъ, а въ ней сложены куски. Это и есть мужъ.

— Такъ какъ же онъ могъ разговаривать, когда отъ него такіе пустяки въ коробочкѣ остались?

— Да вотъ мы сами удивляемся. Очевидно, легкія, горло, ротъ уцѣлѣли, а остальное все разнесло. Бѣдная Марья Петровна,—сколько ей теперь хлопотъ.

И врутъ, врутъ... Тяжело, тупо и упорно.

СОДЕРЖАНІЕ.

	стр.
О военныхъ дѣлахъ и гаубицѣ	3
Дэзи	10
Чудесный кисетъ	17
Герой	22
Ихъ дѣти	28
На пунктѣ	35
Впечатлительная натура	41
Ваня Щеголекъ	47
Новые врали	52

Издательство „НОВЫЙ САТИРИКОНЪ".

Петроградъ, Невскій пр. 88. □ Телефонъ № 59—07.

Вышли въ свѣтъ и поступили въ продажу книги

ТЭФФИ.

НИЧЕГО ПОДОБНАГО.

Ц. 1 р. 25 к.

„ДЫМЪ БЕЗЪ ОГНЯ".

7-ое изданіе.

Ц. 1 р. 25 к.

И СТАЛО ТАКЪ.

7-ое изданіе.

Ц. 1 р. 25 к.

КАРУСЕЛЬ.

4-ое изданіе.

Ц. 1 р. 25 к.

Выписывающіе со склада издательства за пересылку не платятъ. Суммы до 10 р. можно посылать почтовыми и гербовыми марками.

Книгопродавцамъ скидка обычная.

Издательство „НОВЫЙ САТИРИКОНЪ“.
Петроградъ, Невскій пр. 88. ☎ Телефонъ № 59—07.

Вышли въ свѣтъ и поступили въ продажу книги

АРК. АВЕРЧЕНКО.
„О хорошихъ, въ сущности, людяхъ“.
7-ое изданіе.
Ц. 1 р. 25 к.

КРУГИ ПО ВОДѢ
16-ое изданіе.
Ц. 1 р. 25 к.

ЧЕРНЫМЪ ПО БѢЛОМУ.
7-ое изданіе.
Ц. 1 р. 25 к.

САТИРИКОНЦЫ ВЪ ЕВРОПѢ.
Ц. 1 р. 25 к.

ВОЛЧЬИ ЯМЫ.
Ц. 50 к.

Выписывающіе со склада издательства за пересылку не платятъ. Суммы до 10 р. можно посылать почтовыми и гербовыми марками.
Книгопродавцамъ скидка обычная.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 годъ,

Четвертый годъ изданія

на еженедѣльный журналъ Сатиры и юмора

НОВЫЙ САТИРИКОНЪ

ВСѢ ГОДОВЫЕ ПОДПИСЧИКИ ПОЛУЧАТЪ:

52 номера богато иллюстрированнаго *красочными* рисунками и карикатурами журнала большого формата. Рисунки и текстъ лучшихъ русскихъ художниковъ и писателей.

Кромѣ того, внесшіе годовую плату подписчики получатъ:

3 БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРЕМІИ:

1) 1 обильно иллюстрированную книгу:

ДЕСЯТЬ ЛѢТЪ РУССКОЙ КОНСТИТУЦІИ.

2) **„ВѢСТНИКЪ ЗНАНІЯ НОВАГО САТИРИКОНА“.**

3 первыхъ выпуска «Вѣстника Знанія Новаго Сатирикона»:

1) ХРЕСТОМАТІЯ ГАЛАХОВА, примѣнительно къ взрослымъ;
2) ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКІЙ СЛОВАРЬ.
3) СПИРИТИЗМЪ и ОККУЛЬТНЫЯ НАУКИ.

3) **ТЕАТРЪ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ. Альбомъ шаржей.**

Работа извѣстнаго художника Ре-ми (Н. Ремизова). Артисты. Критики. Рецензенты. Драматурги и проч.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА:

Безъ доставки и пересылки: На 1 годъ — 6 руб. 80 коп.

Съ доставкой и пересылкой: На 1 годъ — 8 руб., 1/2 года — 4 руб., 3 мѣсяца — 2 руб., 1 мѣсяцъ — 70 коп.

Допускается разсрочка: При подпискѣ *3 руб.*, 1-го Мая *2 руб.*, 1-го Іюля и 1-го Сентября по *1 руб. 50 коп.*

Адресъ редакціи и конторы: Петроградъ, Невскій 88. Тел. 59-07.

Редакторъ: **Аркадій Аверченко.**

Издатель: **Т-во „Новый Сатириконъ“.**